

**ВЛАДИСЛАВ  
КРАПИВИН**

ТОПОЛИНАЯ  
РУБАШКА

Летящие сказки

Владислав Крапивин  
**Тополиная рубашка**

«Автор»

1986

## **Крапивин В. П.**

Тополиная рубашка / В. П. Крапивин — «Автор»,  
1986 — (Летящие сказки)

Какое переплетение фантазий может быть связано у человека со старым деревом! Вот и автор, думая о тополе, росшем на углу улиц Дзержинского и Герцена, непременно вспоминает историю про ржавых ведьм и Хозяина...

© Крапивин В. П., 1986

© Автор, 1986

## Содержание

РЕКВИЕМ	5
СКАЗКИ УЛИЦЫ НАГОРНОЙ	8
МНОГОЭТАЖНЫЕ СНЫ	13
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Владислав Крапивин

## Тополиная рубашка

### РЕКВИЕМ

Реквием – это песня печали и памяти. Ее посвящают тем, кого уже нет. Людям, которых любили. Но этот реквием – не о человеке. Он о старом тополе, который был для меня живым, как человек, и любимым, как человек.

Да разве только для меня!

Тополь рос на углу улиц Дзержинского и Герцена, во дворе, где прошло мое детство. Он был самый большой в городе. Сейчас это трудно доказать: у деревьев не бывает документов. Но в те времена все ребята и взрослые знали точно: он самый высокий и самый старый.

Мой дядюшка – дядя Боря, – который живет в Тюмени много-много лет, однажды прислал мне свои стихи о тополе, а к ним приложил небольшую историческую справку:

“Впервые этот тополь я увидел в 1937 году, он был таким же, как теперь, а наша соседка Анна Васильевна рассказывала, что домику, где мы поселились, восемьдесят лет, а когда его строили, тополь уже стоял...”

В стихах, посвященных тополю, дядюшка писал об этом же:

Ты в минувшем веке родился  
И шумишь весь двадцатый наш век,  
И с грядущим веком сроднишься,  
Коль не сгубит тебя человек.

Опасения дяди Бори оказались не напрасными. Люди срезали тополь...

Я давно уже знал, что приземистого флигеля, куда меня принесли из роддома, больше нет. И что двухэтажный угловой дом, где жили друзья моего детства, тоже снесли. Да и всего квартала, где шла наша мальчишечья жизнь с деревянными мечами, футболом, воздушными змеями и парусными эскадрами в синих лужах, больше нет.

Ну ладно. Мы теперь взрослые люди и понимаем, что жизнь идет и обветшалые домики должны уступать места новым зданиям. И я хотя и с печалью, но и с пониманием тоже узнал, что на месте нашего флигеля теперь стоянка автомашин, а за ней, на месте старой пекарни (от которой по утрам так дразняще пахло свежими булками), стоит многоэтажное административное здание.

Но тополь-то кому помешал?

Или показалось, что нарушает он гармонию административного ансамбля?

Или испугались, что летом веселый тополинный пух будет залетать в окна кабинетов и легкомысленно оседать на страницах важных деловых бумаг? И спилили...

А ведь он был живой, наш тополь. И он был родной нам.

В своих нехитрых стихах дядя Боря написал:

Жизнь ребячья здесь весело мчались  
Чистым, звонким, как медь, ручейком.  
Только намять о ней осталась  
Под зеленым и шумным шатром...

Даже не верится, что этого шатра больше нет.

Тополь осенял наше детство. Может быть, это звучит слишком романтично и старомодно, только иначе не скажешь. Именно осенял. Да и не только наше. Сколько мальчишек и девчонок выросло под ним – и в прошлом веке, и в нашем, двадцатом. Вырастали, нянчили и учили жить своих детей. Уходили воевать, и случалось, что возвращались. Мне кажется, тополь помнил всех. Всех, кто, сцепившись друг с другом руками, пытался обхватить внизу необъятный ствол. Всех, кто прижимался лбом к бугристой коре и, зажмурившись и нетерпеливо переступая исцарапанными ногами, тараторил:

Раз-два-три-четыре-пять.  
Я иду искать.  
Кого первого найду —  
В темный терем отведу.

Тополь помнил всех, кто ссаживал на коленях кожу, пытаясь добраться хотя бы до первой развилки. Всех, кто, окончив школу, вбегал во двор и радостно лупил по стволу ненужным теперь портфелем.

И тех, кто жил здесь всегда, и тех, кого заносили в наш сибирский город ветры военных эвакуаций...

Тополь не обижался ни на ребят, ни на взрослых. Не обижался, когда по нему били тугими мячами, когда вырезали на его коре инициалы и сердца со стрелами, когда стреляли в него из пугачей. Не обиделся на соседку Василису Тимофеевну, когда она вбила в ствол железный штырь, чтобы привязывать бельевую веревку. Не обиделся, когда в него кузовом впилил грузовик с дровами соседа Ивана Георгиевича. Был наш тополь незыблемый и вечный, как гранитная скала. Что ему какие-то царапины...

Он щедро кидал свою тень на двор, заросший по краям лебедой, крапивой и лопухами, на длинное трехступенчатое крыльцо, где мы любили играть в лото, в фантики или просто сидеть и рассуждать о жизни. (Крыльцо всегда пахло вымытыми досками, а сквозь щели нижней ступеньки прорастали одуванчики.) Иногда мы засаживались на крыльце до позднего вечера. Листва делалась черной, и сквозь нее мерцали живые беспокойные звезды. Сквозь нее или просто среди листьев? Ведь тополь был до неба!

В годы моего детства было у ребят такое выражение: “До неба!” Это значит что-то очень большое. Больше всего на свете. “У меня знаешь сколько фантиков? Целая тыща!”, “Подумаешь! А у меня вообще до неба!”, “Мама, я тебя знаешь как люблю! Вот так, до неба!”.

Тополь наш тоже был “до неба”.

И он связан был с небом, с высотой, с полетами. Сколько стрел из наших луков затерялось в его чаще и не вернулось на землю! Сколько воздушных змеев запуталось и навсегда сгнуло в его листве... Но мы не обижались на тополь, так же как он не обижался на нас.

Несколько раз ночные июльские грозы, белые от электрических вспышек и оглушительные (сейчас, по-моему, таких и не бывает), обрушивали на тополь молнии и шквалы. И тогда он с грохотом ронял на крышу нашего флигеля громадные горизонтальные ветви. Да что там ветви – целые деревья! Они пробивали кровельные листы, а крыльцо и двор буквально заваливали сучьями с мокрой зеленоватой корой и блестящими от дождя листьями.

Но тополь ничуть не становился меньше, его крона нисколько не редела. Я думаю, что свои упавшие ветви тополь с доброй усмешкой просто дарил нам. Утром выскакивали мы в сверкающий от солнца и луж двор, ныряли в прохладный воздух, который состоял из свежести и запаха тополиных листьев, вымытых дождевой водой. Холодные листья прилипали к лицу и голым локтям, когда мы стаскивали исполинские сучья к забору.

Из этих сучьев и ветвей мы строили большущий шалаш. Внутри шалаша было как в тополиной роще. Солнце среди листьев зажигалось белыми звездами с такими сверкающими и острыми лучами, что, казалось, они покалывали кожу. А тополиный запах заполнял весь мир. И вся наша жизнь делалась радостной, беззаботной, бесстрашной, потому что мы сливались с этой свежестью, с этим запахом листьев и солнечными звездами. словно кровь наша перемешивалась с тополиным соком.

А может, и правда перемешивалась? И капелька этого сока осталась в крови до сих пор?

Когда уже не было старых наших домов и улица стала совсем другой, а тополь все еще стоял, он казался мне издали – из других городов, из взрослой моей жизни – надежным береговым ориентиром. Он словно возвышался на берегу моря, у самой воды, и можно было подплыть и привязать к стволу свою лодку. Я надеялся, что когда-нибудь так и сделаю. Подойду к тополю, прислонюсь лбом к бугристой коре, закрою глаза и на миг представлю, что все вокруг – как прежде. Услышу голоса приятелей-мальчишек, смех, скороговорку считалки и патефонную песню “Любимый город” из распахнутого окна второго этажа. Это будет совсем недолго. Долго и не надо. Из взрослой жизни не уйдешь, да и нечестно это было бы – убежать от своих дел и забот. Но короткий миг возвращения в детство нужен каждому. Такая вот отчетливая вспышка памяти о том, что было, и о тех, кто был. Без такой памяти трудно быть большим. И каждому настоящему взрослому, помоему, нужен такой тополь у знакомой пристани, к которому иногда можно привязать свою лодку...

Я утешаю себя тем, что хотя тополя нет, в памяти моей он стоит всегда. Но все-таки до боли обидно, что его сгубили.

Интересно, как с ним справились эти равнодушные дядьки с пилами и топорами? Наверно, пилили по частям. Иначе, рухнув, тополь мог бы разгромить наш флигель... Ах да, флигеля уже не было. А блестящие “Волги” и “Москвичи” с автоплощадки, конечно, вовремя увели, дело нехитрое...

Наверно, к моей крови и в самом деле примешалась капелька тополиного сока. Поэтому каждый год цветение тополей я встречаю, как праздник. Многие люди ворчат, им не нравится пух, оседающий на модные пиджаки, щекочущий лица. Он влетает в комнаты и льнет к полировке современных мебельных стенок и телевизоров. Этот пух для многих – надоедливый сор. А я люблю ласковую, тихую метель июньских дней.

... В мае у тополя дружно разбухли острые почки. Потом кожура почек, похожая на желтые раздвинутые клювики, сыпалась на двор. Она, клейкая и пахучая, липла к сандалиям, а на ладонях оставляла похожие на веснушки пятнышки. Тополь окутывался прозрачным зеленым облаком. Скоро облако делалось гуще: рядом с молодыми листиками вывешивались длинные сережки – зеленые стебельки, усыпанные продолговатыми зернышками.

В июне зернышки лопались. Теперь тополиные сережки издали были похожи на цветы черемухи. И весь тополь делался похожим на громадное черемуховое дерево. Но пух тополиных семян был, конечно, совсем непохож на мелкие сыпучие лепестки. Он плыл, плыл, плыл...

Воспоминанием об этой теплой медленной выюге я и хочу закончить реквием старому тополю.

С этого же воспоминания начну повесть о тополиной рубашке – одну из забывшихся сказок своего детства.

## СКАЗКИ УЛИЦЫ НАГОРНОЙ

Стоял июнь сорок восьмого года. Цвели тополя. Цвел громадный тополь во дворе на улице Герцена, цвели сотни других тополей на разных улицах и в переулках, над откосами длинного лога и над высоким берегом Туры. Эти тополя мне всегда казались детьми и внуками и а ш е г о тополя – самого большого. Ветер бесшумно снимал пушинки с ветвей, и миллиарды их плыли всюду: и у самой травы, и вдоль заборов, и над рыжими от ржавчины крышами, и высоко в синеве. И весь мой путь от улицы Герцена до Нагорной (что тянется по слободе Затюменке от реки, вдоль западных склонов лога) лежал сквозь тихую, пушистую метель. Тысячи летучих семян трогали меня невесомыми мохнатыми лапками.

Я купался в щекочущей метели и в лучах солнца – тоже щекочущих и пушистых. В самом полном смысле купался. На мне и одежды-то было только новые сатиновые трусики (их по маминой просьбе сшила недавно соседка Нюра). В те времена мода была попроще и считалось обычным делом, если мальчишки гуляли по городу в одних трусиках и босиком. Можно было так и в кино пойти, и в библиотеку, и в Сад пионеров на улице Республики. Никому и в голову не пришло бы удивляться или сердиться. В теплые дни преимущества такой одежды были самые явные. Для родителей – сплошная экономия, для нас – полное удобство. С берега в речку бултых без всяких хлопот. Когда бежишь – чувствуешь себя как пушинка. Окажешься под ливнем – никакой беды, а одна только радость. Через пару летних недель кожа делалась коричневой, прокаленной и приобретала удивительное свойство: солнечные лучи, ласковость тополиного пуха, пушистые касания ветерков она чувствовала каждой крошечной чешуйкой, а для всяких колючек и ядовитых трав делалась неуязвимой. Не брал нас ни кусачий чертополох, ни сердитый шиповник, ни вечный враг мальчишек – крапива. Та, что густо росла вдоль заборов и несла добровольную сторожевую службу в садах, где зрели мелкие сибирские яблочки. Хозяйками таких садов были всегда пожилые крикливые тетушки.

К таким тетушкам принадлежала и хозяйка на улице Нагорной, где с недавних пор я жил с мамой, отчимом и годовалым братом Лёськой. Вообще-то тетя Тася была ничего, не злая, но при каждом удобном случае говорила, что “робяты-как котятты, ума ни на грош, а писку цельный ковш, и учить вас уму-разуму надо не как в школе, а по-старому”. И любила рассказывать, как воспитывала своего племянника. Но я тетю Тасю не боялся. Во-первых, яблочки еще не созрели; во-вторых, я вообще не боялся взрослых.

А вот незнакомых мальчишек я, честно говоря, опасался, хотя уже не маленький был – десятый год. Почему-то в любой новой компании меня быстро начинали дразнить и даже поколачивать. То ли не везло мне на знакомых, то ли мальчишки сразу угадывали мой страх перед ними, а боязливых нигде не жалуют. Поэтому, куда бы наше семейство ни переезжало, я продолжал ходить в старый двор на улице Герцена. Здесь прошло мое дошкольное детство, здесь друзья были надежные, а недруги – привычные и нестрашные. А на других улицах...

Вот и сейчас я радовался лету, но на всякий случай поглядывал по сторонам.

Мой легонький наряд, несмотря на массу достоинств, страдал все же одним неудобством – ни единого кармашка. И подарок дяди Бори – маленький пластмассовый компас – я нес в кулаке. За него-то я и боялся: не отобрали бы.

Ремешка у компаса не было. Одно ушко отколото, черная пластмасса корпуса – в царапинах. Но мне это даже нравилось: сразу видно – бывалый компас. Может, из экспедиции или с фронта.

Дядя Боря объяснил, что купил компас за пятерку на толкучке, когда искал для бритвы лезвия “Экстра” (бриться грубым “Стандартом” он не любил). Продавал какой-то подвыпивший мужичок: видать, не хватало на стопку. Дядя Боря и купил. А мне сказал:

– Бери, пригодится. У меня в детстве был почти такой же...

Детство дяди Бори мне казалось спрятанным за небывалой толщей времен. Первые двенадцать лет мой будущий дядюшка прожил еще до революции. Случалось, он рассказывал о своей ребячьей жизни и приключениях, и я слушал эти рассказы с интересом, но, по правде говоря, представить дядю Борю мальчиком не мог. А теперь компас будто проколол острой стрелкой тридцать с лишним лет и соединил нас, двух мальчишек. На секундочку, на миг.

Я тихо спросил:

– Неужели ты был такой же, как я?

– Немножко не такой. Темноволосый был, а ты вон как пух тополиный...

Я подумал, что цвет волос – не главное. Похожесть людей не в этом... Все равно дядя Боря был когда-то т а к о й ж е...

Компас показался мне чем-то вроде талисмана. Немножко волшебным.

Я сжал подарок в ладони и поспешил домой, чтобы насладиться им не спеша и без помех. Несколько раз по дороге я, оглянувшись, останавливался и включал стрелку. Она – живая – вздрагивала, начинала метаться и наконец поворачивала белое острие в сторону прохладной реки, а черный хвостик к дальнему берегу лога – там, высоко над крышами и тополями кварталов, которые назывались Большое Городище, пылало полуденное солнце.

Но, играя с компасом, я не забывал об осторожности. И правильно. Скоро я услышал гогочущие голоса, гвалт и перебранку. Навстречу двигалась ватага. Видимо, с купанья. Впереди шагал тощий цыганистый Вовка Жмых – известная личность из большого двора на улице Запольной. Я остановился и затрепетал в душе. Ватага могла и не обратить внимания на пацаненка вроде меня, а могла и “прискрестись” ради забавы. Особенно если увидят, что боюсь... А если увидят, что иду независимо, решат: нахальничает малявка. И тоже привяжутся.

Рядом в заборе я заметил оторванную доску. Забор отгораживал от улицы чьи-то чахлые грядки. А за грядками – откос лога.

Щель была узка, но ватага была близко. Кое-кто уже поглядывал на меня. Я стал торопливо протискиваться. Плечо, голова, нога...

– Эй ты! – послышалось с улицы. – А ну, стой!

Я рванулся, расцарапал грудь и пузо, зацепился, чуть не оставил на улице единственную свою одежду, подхватил ее и кинулся через гряды. За мной метнулась рыжая косматая шавка. Но я уже катился по откосу сквозь пружинистый бурьян.

Внизу, в глинистой воде Тюменки, я промыл царапины, на ободранное плечо наклеил подорожник и в таком виде явился домой.

Тетя Тася кормила на дворе кур. Она покосилась на меня.

– Ишь испластался-то... Брюхо будто граблями драл.

Я сообщил тете Тасе, что брюхо мое – как хочу, так и деру.

– Вот они, нынешние-то, – сказала тетя Тася. – Мать-то все по-культурному его воспитывает, а он вон чё... Лучше бы взяла крапиву...

– Вы только одно и знаете, – огрызнулся я.

– Можно и другое. Можно вицу взять...

– Ага! Или ржавым ведьмам отдать, чтоб сварили, – ехидно добавил я.

Тетя Тася рассердилась:

– Не мели языком-то, про чё не знаешь...

Я хмыкнул и ушел в дом.

Про ржавых ведьм я кое-что знал. От той же тети Таси. И не только про ведьм, про всякие другие страхи тоже.

Мы переехали в этот дом в январе. Квартиру подыскало нам Управление охоты и рыболовства, в котором работал отчим. Хотя “квартира” – это слишком громко звучит. Была просто комната, разделенная фанерной перегородкой.

Кроме нашей комнаты были в доме еще две – хозяйкины. И широкая кухня с русской печью. В кухне обитала пожилая квартирантка Нюра. Она помогала тете Тасе по хозяйству. Хозяйство здесь было совсем деревенское. Во дворе – стойло, где жили две коровы и добродушный боров Борька (я на нем иногда катался верхом). Большой огород, который кончался на берегу лога. В огороде стояла банька.

У тети Таси был взрослый сын, только видели мы его редко. Он все время где-то ездил. И все время то женился, то разводился, на что тетя Тася реагировала философски: “Ну и холера с им, пушай. Их вон сколь, девок-то! Ладно хоть внуками меня не наградил, а то куда я с имя на старости лет”.

На это однажды квартирантка Нюра сказала:

– Ну чё радуешься-то, глупая. Тебе бы сейчас и сидеть с внуками-то. А ты только с телкой да с боровом возишься, а кому это надо? Помрешь – эти животные тебя не вспомнят.

И они с тетей Тасей поругались.

Сама Нюра – рябая высокая тетка – жила одиноко: муж погиб в войну, детей у нее не было. А ей хотелось маленького, чтоб любить и нянчиться. Поэтому она тайком баловала меня: то три рубля сунет на мороженое, то пряником угостит, то просто вздохнет и приласкает. Мне это, по правде говоря, нравилось. Не из-за трешки и пряников, а так... Мама-то все больше с Леськой возилась, отчим был человек угрюмый, и я чувствовал себя слегка неприкаянным. Остался еще у меня дядя Боря, но мы уже два года жили порознь...

Тетя Тася осуждала Нюру за ласковый характер и любовь к ребятишкам. И рассказывала, что сына своего воспитывала “без нежностей”, а он вот “ничё, не глупее других вырос”. Однако и сам сын “нежностей” к мамаше не питал, по полгода не казал к ней носа. Нюра так и сказала однажды.

– А Жора! – возразила тетя Тася. – Я его тоже сызмальства воспитывала, а он ко мне лучше, чем к родной матери...

Жора был ее племянник. Здоровый розовый дядька с редкими белобрысыми волосками. Он заведовал ветеринарной лабораторией. Этот Жора и правда испытывал к тетушке необъяснимую привязанность, часто навещал ее, и всегда с подарками.

Впрочем, Жора к моему рассказу отношения не имеет. Просто я впервые услышал про ржавых ведьм, когда тетя Тася вела очередной разговор про воспитание племянничка.

Но сначала надо вообще рассказать про те разговоры на кухне. Они случались зимними вечерами. Я в такое время уже лежал под одеялом в комнате без света. Моя кровать была придвинута к заколоченной двери, которая раньше вела на кухню. Все “кухонные беседы” были слышны до последнего слова. Леська спал, мне тоже полагалось спать, отчим был в командировке по охотничьим делам, и мама, чтобы совсем не заскучать, часто сидела с тетей Тасей и Нюрой.

Иногда приходили соседки из других домов. Порой пили чай или гадали на картах. Жаловались на свою бабью долю, привычно вздыхали и, бывало, рассказывали, как угадывать сны и приметы, чтобы избежать лишних бед. А отсюда недалеко было и до страшных историй – про домовых, покойников и водяных, с которыми эти тетушки, оказывается, все имели дело.

Их рассказы я слушал, ежась в темноте от цепкого ужаса.

Тетя Тася очень любила истории про злого домового по кличке Суседка.

– ...Я посреди грядок так и села. А он из ботвы-то космату башку выставил да говорит: “Иди-тко сюды, голубушка, иди, не бойсь...” А я вся закоченела со страху-то, еле языком шевелю. “Зачем, – говорю, – Суседушка, я тебе? Не надо”, – говорю... А он сладенько так, а все равно страшно: “Иди, иди сюда, мы с тобой помилуемся...” Тут меня как каленой кочергой по голове... Ой, девоньки, юбку я подхватила и домой без памяти. До утра тряслась, спать не могла...

Нюра сказала что-то неразборчивое, и все долго смеялись. Потом опять потянулся тети Тасин рассказ:

– ... А как вошла в баню-то – батюшки мои! – он с запечки-то на меня и глядит! У меня ноги-то и отнялись. Я на лавку хлоп, не могу ни рученькой шевельнуть, ни рта открыть. А он посопел, попыхтел да и вылазит весь. Сам коротусенький, настоящему-то мужику до пупа не будет, а широкий зато, и руки длиннющии. Рубаха синя-полосата, до полу, а с-под рубахи-то пимы разлапистые, подшитые. Башка космата, а бороденка жиденька. И улыбается так, вроде по-добренькому. Только глазишши-то – вот где страх! – не глазишши, а дырищи черные. И тут я девоньки ка-ак...

“Девоньки” так и не узнали, чем окончился очередной контакт тети Таси с нечистой силой. Потому что я завопил:

– Ма-ма!

Страх, который копился во мне, рванулся наконец в этом крике. Не мог я больше. В глуховатом голосе тети Таси, в сумраке комнаты, в проблеске фонаря и тенях на стене таилась необъяснимая жуть, и чудились в углах Суседки, бабы-яги и прочая нечисть. И подступали, подступали и смотрели. “черными дырищами”...

Мама влетела в комнату.

– Что с тобой? Приснилось что-то?

За несколько секунд я пришел в себя и понял, какой жуткий позор грозит мне, если откровенно признаюсь в своих страхах. И сердито объяснил:

– Чего тут приснится, если уснуть невозможно? Болтают-болтают всякую ерунду, как тут заснешь! Скажи им, чтоб не так голосили.

Мама все поняла и даже не стала говорить, что нехорошо так выражаться про взрослых. В тот вечер на кухню больше не пошла, а в другой раз сказала соседкам:

– Давайте-ка потише про всякие страхи разговаривать, а то Славка у меня от этого не спит.

– Ох уж, не спит он, – завелась тетя Тася. – Давно уж, небось, дрыхнет без задних ног. Они как днем-то наскочутся, дак ничё к вечеру не помнят. Одна дурь в ихних головах...

– У тебя как ребенок, так обязательно дурь, – сказала Нюра.

– А то ли я не знаю! С имя без страху-то и не сладить, я по Жарке это поняла. Упрямый был, сладу нет. Говорю ему, говорю по-доброму – хоть бы какой прок. Рукавицы надену, крапиву сорву. “Иди, – говорю, – сюды”. Другой бы бежать. наладился или “тетечка, больше не буду”, а этот набычится только да сопит. Начну его жучить, как оно полагается, а он опять сопит только и не пикнет, паразит такой... Спрашиваю: “Будешь еще пакостить да тетку срамить перед соседями?” А он: “Чё я сделал-то?” Совсем уж голову я поломала, как с им управиться, а потом будто кто меня надоумил. “Вот запрю тебя, – говорю, – в баньке на цельную ночь, там с тобой ржавы-то ведьмы не так поговорят. Огонек-то разведут пожарче да в котел тебя...”

– И все ты перепутала, Таисья, – перебила старая соседка Полина. – Сроду никого ржавы ведьмы в котел не совали. Зашекотать они могут али волосы выщипать. А еще мне моя бабка сказывала...

Тетя Тася обиделась:

– Я про что сама знаю, про то и говорю. Кого зашекотать, а кого и в котел, если банный день...

– Заврались вы, бабки, – с зевком сказала Нюра. – Все напутали. Те, которые щекочат, – это русалки. Они в воде водятся.

Тут обиделась Полина:

– Молодые-то, они шибко грамотные... А про русалок мы и сами знаем, только сказки это. Русские народные... А ржавы-то ведьмы не по-русалочьи щекочат, не до смерти, а только от

их потом лишаи идут, будто ржавчина, и чесотка всякая... У их для щекотки нарочно пальцы волосатые...

Я поежился под одеялом. Но все же слушать про ржавых ведьм было не так страшно, как про Суседку. Да и привык уже. Случалось и сейчас, что страх обволакивал меня с головы до ног, но теперь у него был какой-то сладковатый привкус. К страху примешивался интерес, похожий на ожидание жутковатой тайны. Добра от такой тайны не жди, а знать все равно хочется...

## МНОГОЭТАЖНЫЕ СНЫ

И вот здесь я начинаю писать про то, чего не было. Не было, и все. Кому неинтересны сказки, дальше может не читать, сразу предупреждаю. Кое-что из этой истории я увидел во сне, кое-что потом придумалось, чтобы в сказке не было запутанности...

Начало мне, конечно, приснилось.

Это был один из тех жутковатых снов, когда невозможно понять: что тебе привиделось, а что случилось уже наяву. Просыпаешься с колотящимся сердцем и думаешь: “Ух, слава богу, это был сон”. Но... страх подкрадывается к тебе опять. И то, что пугало, снова рядом. И вновь стараешься убежать, порвать упругие резиновые веревки сна... Проснулся? Или еще нет?

Такие сны я называл многоэтажными.

В тот вечер тоже пришел многоэтажный сон. Только я не спасался из него, а наоборот, уходил вглубь. Как бы спускался со ступеньки на ступеньку.

Мне снилось, что я лег спать, но уснуть не решаюсь. Знаю: как только засну, сразу увижу что-то жуткое. И поэтому мне страшно уже сейчас.

И все же глубокая дрема охватывает меня. И в этом новом сне (уже вторая ступенька, да?) я снова томлюсь от страха в своей постели. Сквозь ресницы вижу, как ползают по цветастым обоям светлые пятна от уличной лампочки и тени от сиреневых кустов в палисаднике. “Не смотри, – говорю я себе. – Не смотри, Славка... Ой, не надо...” Но не могу удержаться, смотрю. И случается то, что должно случиться: тени превращаются в громадное уродливое лицо. Лицо это беззвучно произносит круглым черным ртом: “Не вздумай заснуть. Хуже будет”.

Я понимаю, что будет хуже. Нельзя закрывать глаза. Но чтобы не видеть страшного великаньего лица, я зажмуриваюсь и чувствую, что проваливаюсь в новый сон. И на этом, более глубоком этаже сна вижу, что все по-старому (только лицо чудовища растаяло). Я попрежнему лежу на своей твердой кровати, съежился и смотрю из-за краешка одеяла сквозь слипшиеся ресницы. Стало светлее. Наверно, разошлись облака, а чистое небо июньской ночи темным не бывает. В комнате белесый полусвет, все видно. Тени на стене стали мягче. Но именно здесь ко мне приходит тот главный, настоящий страх. Сейчас-то и должно случиться т о с а м о е. То, ради чего сон...

Кругом все как на самом деле. Трет переносицу кромка жесткого одеяла (я натянул его до глаз). Колет ногу попавшая в постель крошка (это неправда, что во сне люди боли не чувствуют). На улице фыркнул и махнул отблесками фар случайный автомобиль. За перегородкой хныкнул Леська, и мама, не просыпаясь, машинально качнула его кроватку. На кухне постанывает и ворочается на скрипучих полатях Нюра. Но все это теперь не имеет ко мне отношения. Все это рядом, но за тройным слоем сна. А у меня теперь один страх, одна задача: б о л ь ш е н е с м о т р е т ь н а с т е н у. Потому что как взглянешь, так о н о и случится.

“Не смотри, Славка. Ну, пожалуйста, не надо...”

И обмеров до полной неподвижности, со стоном в каждой жилке, с холодом в животе я расклеиваю ресницы и смотрю на обои широкими, отчаянными глазами.

И, конечно, вижу то, чего ждал.

На первый взгляд ничего особенного. Просто круглые часы в деревянном ободке, с фарфоровым треснувшим циферблатом, черными римскими цифрами и тонкими узорными стрелками.

Старые знакомые часы. Но весь страх в том, что их здесь не может быть. Они были у нас раньше, в моем самом раннем детстве. А потом сломались, механизм рассыпался, циферблат раскололся, а деревянным ободком я играл – катал вместо обруча по двору и по тротуарам на улице Герцена...

И вот они опять висят. И я не удивляюсь. Я знал заранее, что опять увижу их. И что часовая стрелка будет стоять на двенадцати, а минутная подползает к этому числу. Подползает тихо, но ощутимо. И вот, когда подползет... Что поделаешь, именно в полночь т а к о е и случается.

И я, уже готовый к любому ужасу, гляжу не моргая, как две стрелки сливаются в одну. Сейчас раздастся скрежещущий гул, потом первый медный удар, и тогда... Вот! Просыпается в часах дребезжащая пружина... и...

Позвенела немножко и замерла. И дальше ни звука. Наоборот, еще сильнее тишина. Такая, что в ушах нарастает стремительный звон. Но это не опасный звон...

Значит, все? Больше ничего не будет? Можно облегченно вытянуться под одеялом и передохнуть. Страх оказался напрасным. Ух как хорошо...

Он еще не совсем ушел, этот страх, но уже можно дышать. Я встряхиваю головой, чтобы прогнать звон из ушей... Прогоняю... Опять совершенно тихо. Совсем-совсем. И... что?

Сквозь эту тишину проходит еле слышный з в у к... Что такое? Да нет же, это просто во дворе ветка царапнула о забор. Или шевельнулся на насесте петух Петька. Или в соседнем квартале простучали по деревянному тротуару чьи-то босоножки...

Но вот о п я т ь...

Нет, не босоножки это. Не ветка, не петух.

Это кто-то осторожно постучал согнутым пальцем в наружную дверь.

Ну и пусть постукивает. Мне-то что? Я буду здесь, с головой под одеялом... Но сквозь одеяло, сквозь ватную тишину снова – то ли стук, то ли царапанье...

Я не вижу, но знаю, чувствую, как в спрятанном под подушкой компасе повернулась белым наконечником к двери стрелка.

Ну и пусть повернулась. Я ни при чем! Это не ко мне! Кто-нибудь из взрослых проснется, пойдет и спросит: кого там принесло среди ночи?

Не проснутся. Они за тройной границей моего сна. Этот звук слышу только я. Он для меня одного. Это – з а м н о й...

Не надо вставать, надо съежиться и замереть. Но у сказочных снов свои законы. И я поднимаюсь на слабых ногах. Седоватый сумрак меня окутывает, как туман. И страх снова окутывает – плотный и глухой. В этом тумане и в этом страхе я выхожу в темный коридор (вязаные половики щекочат ступни), медленно иду мимо спящих дверей, против своей воли отодвигаю тяжелую дверь в сени...

В дощатых сенях прохладно, пахнет влажной кадушкой и рогожами. Сумрачно светятся щели. За наружной дверью теперь тихо. Но я знаю – о н и т а м. Я это чувствую каждым волоском, каждым квадратным миллиметром дрожащей кожи. И не надо отпирать дверь, не надо. Надо тихонько вернуться и забраться в постель. А еще лучше – под кровать. Там, наверно, не найдут...

А ноги сами по себе медленно двигают меня к двери. А руки сами по себе нащупывают холодный дверной крючок и вынимают его из кольца. И дверь тихо-тихо отходит. И я вижу на крыльце и х.

Ночь светлая, и я вижу тех, кто пришел за мной, достаточно ясно. Это две тетки в глухих платках и длинных, косматых каких-то платьях (такими я их и представлял). Одна – низкая, квадратная и не то чтобы старуха, но очень пожилая. Другая – высокая и помоложе. Впрочем, лица почти неразличимы, да и страшно мне смотреть на них.

Однако теперь я испытываю какое-то облегчение. Все равно жутко, но уже не так. Э т о наконец случилось, никуда не денешься. Так что уж все равно. Пусть...

– Вот он, появился, душа ненаглядная, – говорит пожилая тетка хрипловато и недобро. – Ну-ка, давай...

Она деловито разворачивает большущий мешок. Край мешка чиркает меня по ногам грубой тканью и какими-то колючками.

– Ну-ка, берися, – говорит она молодой. Вдвоем они растягивают верх мешка, и он разверзается передо мной темной пастью. Из “пасти” пахнет гнилой материей, пылью и отрубями. Я хочу отшатнуться, только сил нет.

– Лезь, – требует пожилая. – Неча время тянуть.

Я представляю, как там темно, душно и колюче.

– Не... – беспомощно говорю я. – Не надо...

– Как это не надо? Ну-ка, давай...

– Так полагается, – объясняет высокая. Голос у нее почище и несердитый.

– Ну, пожалуйста, не надо... – бормочу я. – Лучше я... так...

– Четой-то “так”? – недоверчиво сипит пожилая.

– Я сам пойду. Без мешка...

– Ишь чё надумал. Без мешка дело не делают...

– Да пусть, – говорит высокая. – Не все ль равно?

– Ну, пушай... – ворчливо соглашается квадратная тетка. – Мне чё? Оно и лучше, тяжесть не таскать.

– Тяжести-то в нём... – тихонько говорит высокая. – Ладно, пошли.

Они сходят с крыльца не оглядываясь – знают, что я никуда не денусь. И я заколдованно бреду за ними. Через двор, через огород, между грядок, где хватает за ноги холодная картофельная ботва...

Я понимаю, куда мы идем. К бане. Там, в квадратном окошке с перекрестьем, качается желтый огонек.

Кто там? Что там? И что со мной сделают?

Банька недалеко, но мы идем к ней долго-долго – будто через большое поле. И над нами половинка луны – обесцвеченная в светлом небе.

И вот дверь...

Сколоченная из тяжелых плах, дверь эта отъезжает в сторону с натужным визгом. Изнутри вырывается запах остывшей бани: влажного дерева, березовых листьев, золы, холодных мочалок. Меня подталкивают вперед. “Проснуться бы”, – безнадежно думаю я напоследок. Но теперь такое чувство, что все это не во сне, а по правде. Делать нечего, шагаю в предбанник. Здесь темно, однако приоткрыта дверь в главное помещение (тетя Тася зовет его “мыльня”). Там колеблется свет.

– Иди-иди... – шепотом говорят мне в спину.

Я иду...

Раньше, когда я бывал в этой бане, мыльня казалась мне тесной. Того и гляди, зацепишься то за горячую печку, то за лавку с ведрами, то за мохнатые веники на стене.

Но сейчас я увидел, что мыльня стала просторнее. Посреди нее появился щелястый стол из некрашенных досок, вокруг стола – табуреты. Печка с вмазанным в нее котлом словно отодвинулась в угол, полка, на которой парились с вениками, поднялась к потолку. А сам потолок стал выше.

Горели две свечи – на столе и на краю высокой полки. А лампочка у потолка не горела. Оно и понятно: всяким злодеям и нечистой силе электрический свет не по душе. В дальнем углу маячила какая-то машина с деревянным колесом и высокой рамой. Вроде как станок для пыток (я видел такой в трофейном фильме “Собор Парижской Богоматери”). Я подумал об этом отупело и без особой тревоги. В другом углу – у печки – кто-то тяжело возился и кряхтел. Я разглядел пышную грудку тряпья, блестящие очки и цветастый платок. И через несколько

секунд понял, что там возится и сопит, сидя на скамье, толстая очкастая старуха с мясистым носом.

У меня из-за спины пожилая тетка сиплым басом сообщила:

– Ну вот, Степанида, привели его, валетика нагаданного. Он и есть...

– Ну, коли есть – сварить да съесть... – в рифму пробубнила старуха.

Меня продрало колючим холодком. Но сквозь новый испуг все же скользнула здравая мысль: “Сразу не сварят, котел-то холодный”. Печка не горела, от котла пахло остывшим железом.

Та, что помоложе, недовольно сказала:

– Хватит пугать мальчонку-то. Ты, Степанида, сварить обещаешь, а Глафира на него с мешком... Он сомлеет раньше срока...

– А я чё? Я как по правилам, – все так же сипло огрызнулась квадратная Глафира.

А старуха Степанида сняла очки, глянула на меня булавочными глазками и наставительно пробубнила:

– Как надо, так и делам. Больше пользы будет. С их, с непуганых-то, какой прок?.. Это надо же, до чего костлявый... Ладно, говори.

“Говори”, – это уже мне.

– Чего? – прошептал я.

Глафира нагнулась, вполголоса объяснила:

– В чем виноват, все и говори.

Вообще-то в разговорах со взрослыми я был упрям и даже нахален. Заставить меня признаться в какой-нибудь вине и просить прощенья обычно никому не удавалось. Но тут было не до фокусов. У меня сами собой выскочили слова – те, что говорят все прижатые к стенке мальчишки:

– Я больше не буду.

– Чё не будешь, мы и сами знаем, – забурчала Степанида. – Ты давай про то, что было...

– Я же вам ничего не сделал, – жалобно сказал я.

– Не нам, а всем, – строго сказала Глафира. Она и ее приятельница все стояли за моей спиной.

– Про все свои грехи говори, – сказала высокая тётка и, кажется, слегка усмехнулась.

Я повесил голову (и в прямом и в переносном смысле). Грехов было множество. Даже за последние дни. Играл недавно в чикку по пятаку за кон, а маме сказал, что понарошке. Катался верхом на борове Борьке, несмотря на суровый запрет. Рассорился с мамой, когда она просила посидеть меня с Леськой, чтобы сама могла сходить в мастерскую (а когда все же согласился и мама ушла, со злости хлопнул Леську за то, что он ползал под ногами и гремел сломанной машиной). В магазине устроил недавно скандал. Хлебные карточки уже отменили, но очереди еще случались, и вот я нахально пытался пролезть вперед, врал, что занимал очередь раньше всех, и для убедительности даже заревел (очень уж хотелось поскорее развязаться с делами и махнуть на речку).

Но самое главное – патроны. Я стянул четыре штуки у отчима из берестяной коробки, где он хранил охотничьи припасы. На улице Герцена мы с Толькой Петровым и Амиром Рашидовым выковырили дробь и порох, а гильзы утопили в уборной. Дробью мы стреляли из рогаток, а порох пустили на фейерверк – поздно вечером подожгли на помойке. Туда как раз тащила ведро Толькина соседка Василиса Тимофеевна... Крику было! Но нас, конечно, не поймали, только дядя Боря в тот вечер поглядывал на меня особенно пристально...

Вот такая история была на моей совести.

Но, с другой стороны, сам я похищение патронов грехом не считал. Отчима я не признавал ни за отца, ни даже за дальнего родственника, часто с ним не ладил, он ко мне тоже

придирался. Поэтому на дело с патронами я смотрел не как на кражу, а как на месть вредному человеку...

– Ну! – сурово напомнила Степанида. – Чё молчишь-то, будто губы зашил? Все равно все знам. Гляди, сварим...

– Про патроны тоже говорить? – подавленно спросил я.

– Про патроны не будем, – хмуро ответила Степанида и опять надела строгие очки. – Что было, то было, никуда уже не уйдет. Расскажи-ка нам, как у приятеля у свово в школе, которого зовут Вовка Хряк, хотел деньгу старинну с орлом стащить прямо из его сумки, когда ему у доски стоять было велено...

– Я же не стащил!

– Не стащил, а хотел. И не совести побоялся, а что узнает да побьет... Вот про такие мысли, когда нехорошее дело задумывал, сейчас и говори... А то сразу съедим.

Я опять ужаснулся, хотя, казалось, дальше некуда. Мало ли какие мысли порой у человека в черепушке заводятся! Им ведь не прикажешь, мыслям-то. Иногда такие появляются, что самого себя стыдно. Как тут расскажешь?

– Ладно вам, тетки, – вдруг ясным голосом сказала высокая. – Чего маете мальчишку? Сами видите, какой он есть, а другого и вовсе нету. Не годится, что ль?

– Годится не годится, а по мне, так лучше сразу съесть, – пробубнила Степанида. – Ты, Настя, слишком добрая, вот чё. Молода еще. Гляди, наплачешься.

Высокая Настя засмеялась. А Глафира хрипловато посоветовала:

– На картишках бы ишшо раз проверить... – Она ткнула меня в плечо: – В карты играешь?

Я хотел соврать, что не играю. Но вспомнил: они же все равно все знают. И как мы с Лёшкой Шалимовым, Вовкой Покрасовым и Амиром по вечерам на крыльце...

– Маленько. В подкидного... и еще в “пьяницу”.

– Пьяницы нам ни к чему, – сказала Настя. – А в подкидного давай. Как раз нас двое на двое. Степанидушка с Глафирой сядет, а мы с тобой.

Меня усадили к столу на гладкий холодный табурет. Я опять вздрогнул. Настя вздохнула, покачала головой, взяла откуда-то (будто прямо из воздуха) серый большущий платок и одним махом закутала меня вместе с табуретом. От платка немного пахло ржавчиной, но он был пушистый, уютный такой, и страх мой поубавился. Может быть, это от тепла, а может быть, я уже устал бояться. То есть я боялся, конечно, только не как раньше, не до жути. И стало даже капельку интересно.

Старуха Степанида со скрипом и охами придвинулась к столу вместе со скамьей. Я разглядел ее получше. “Профессорские” очки в тонкой оправе совсем не подходили этой бабке, и я решил почему-то, что они краденые. Лицо Степаниды было в бурых бородавках, большущих, как соски козьего вымени. На бородавках торчали редкие волоски. Глазки за очками смотрели колюче, не по-старушечьи. Коричневый с черными горошинами платок был новый и торчал твердыми складками. Поверх серого платья на Степаниде косматилась вывернутая мехом наружу безрукавка.

Настя и Глафира тоже сели к столу. Глафира оказалась сбоку, я глянул на нее лишь мельком и даже не запомнил, в чем она. Помню только, что платок был черно-серый, клетчатый, повязанный низко над глазами. А лицо квадратное и какое-то очень равнодушное.

А у Насти лицо было круглое и красивое. Совсем еще нестарое. Даже почти молодое. Только морщинки у глаз и тени под нижними веками мешали полной молодости. Зато щеки были гладкие, как у девчонки, и губы красные и пухлые. Из-под зеленого платка торчала темно-рыжая, как старая медная проволока, прядка. А глаза ее оказались желтовато-серые, я это заметил, когда Настя близко глянула на меня и сказала:

– На, тасуй колоду. Умешь?

Я взял. Карты были твердые, новые. На оборотной стороне, которая называется “рубашка”, темнел краснокоричневый узор из листьев и завитушек, а в середине его проступала фигурка глазастой совы. Я сразу вспомнил, что такие карты весной пропали у Нюры. Она долго горевала и все расспрашивала, не видал ли кто случайно. А тетя Тася с явным намеком поглядывала на меня. Однако Нюра сказала: “Чё ты на ребенка-то зря глядишь”. А я шепотом обозвал тетю Тасю “свинячьей душой”. Она услышала, наябедничала маме, мне влетело, велели просить прощения. Конечно, я не стал... В общем, было дело...

А карты, значит, вот они! Я даже разозлился: за что страдал?

Я сердито стал тасовать краденую колоду и тут же увидел: нет, не краденая! Это были совсем другие карты. Странные! Карты “наоборот”!

Черви и бубны оказались черные, а пики и трефы – ярко-алые. Кроме них встречались и совсем незнакомые знаки: крошечные черные коты, коричневые черепа, зеленые листики... Но не это меня больше всего удивило. Поразили фигуры. Королей, валетов и дам рисуют до половины: одна голова вверху, другая внизу. Здесь тоже были половинки, только нижние: от пояса до пяток! Я видел длинные пышные юбки и острые туфельки, красные ботфорты с отворотами, атласные штаны с бантами, разноцветные чулки, башмаки с пряжками и полусапожки со шпорами. Колода оказалась толстенная – наверно, не меньше сотни карт. И, конечно, каждая карта – заколдованная...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.